Содержание

Пролог 3
Глава 1. Миллионная улица 14
Глава 2. Стрелка Елагина острова 22
Глава 3. Центральный парк культуры и отдыха . . . 36
Глава 4. Парк больницы Эрисмана 49
Глава 5. Улица Правды 55
Глава 6. Музей Достоевского 66
Глава 7. Снова Миллионная 82
Глава 8. Театр Юного зрителя 88
Глава 9. Казначейская улица 97
Глава 10. Университетская набережная 101
Глава 11. И снова Миллионная 109
Глава 12. Гатчинская улица 119
Глава 13. Проспект Стачек 133
Глава 14. Волховский переулок 137
Глава 15. Набережная Мойки 158
Глава 16. Ивановка 166
Глава 17. Улица Ивана Черных 175
Глава 18. Балтийский вокзал 187
Глава 19. Измайловский проспект 197
Глава 20. Улица Марата 210
Глава 21. Набережная Фонтанки 221
Глава 22. Вновь Миллионная 233
Глава 23. Графский переулок 245
Глава 24. Улица Беринга 251
Глава 25. Набережная лейтенанта Шмидта 264
Глава 26. Смоленское кладбище 276
Глава 27. Каменный остров 289
Глава 28. Нарвские ворота 305
Глава 29. Скотопригоньевск 314
Глава 30. Дмитровский переулок 322

Глава 31. Социалистическая улица 330
Глава 32. Социалистическая улица — 2 341
Глава 33. Владимирская площадь 350
Глава 34 366
Эпилог 373

Комментарии 382
Приложение 1 396
Приложение 2 397

...ибо обманутым сердцем можно сильнее желать — но невозможно любить.

Катулл

Пролог

Позднее осеннее солнце еще только поднималось над лениво вздыхающим морем, и его слабый младенческий свет выхватывал из предутреннего тумана лишь самое яркое и насыщенное: зеркальные отблески, густо-лиловые пятна и красноватые камешки на серо-серебристой стене. И эта красная россыпь камешков неожиданно освежала стену, словно цветущие маки — серые камни Херсонеса. С каждой секундой они все более наливались живым теплом, и становилось видно, что это ножки и клювы птиц, женские соски и кончики разомлевших пальцев. Спустя еще какое-то время вспыхнули розоватые гальки постамента, мраморного лутерия[1], птичьих крыльев и женских тел, потом полилась и холодная светло-зеленоватая вода. И, наконец, густо засиял темно-синий, почти черный фон.

Наконец стали отчетливо видны и все прочие, самые мельчайшие детали мозаики. Округлые нежные части женских тел были выложены окатанным круглым галечником, ребристую ножку лутерия

[1] Лутерия — греческий сосуд для омовения. — *Здесь и далее примечания и комментарии автора.*

создавала продолговатая галька, положенная на торец, и в ней мерцали тонкие свинцовые прокладки силуэтов. Светлые камешки бликовали, создавая полную иллюзию влажности еще не высохшего тела...

И точно так же влажно блестели глаза старухи, сидевшей напротив этой древней мозаики и казавшейся такой же частью древнего понтийского, давно уже вымершего города. Черное платье старого темного шелка делало ее почти неотличимой от теней, то тут, то там бросаемых разбитыми колоннами. Но вот старуха с тяжелым вздохом, явно преодолевая боль в ногах и спине, поднялась. Она оказалась высокой и, несмотря на всю пышность юбок, стройной. Взгляд ее поражал какой-то невероятной надменностью. Сделав несколько шагов, старуха остановилась и, судорожно сжимая в костлявых пальцах нелепый потертый ридикюль, снова с жадностью впилась взглядом в мозаику.

Теперь, при свете уже окончательно поднявшегося солнца, было видно, что перед ней на стене, около умывального таза — лутерия, изображены две женщины, голубь и еще какая-то крупная птица, похожая на гуся. Женщина слева, вероятно, только что закончила мыться и пленительным извечным жестом поднимала руки, отжимая свои густые, тяжело ниспадающие волосы. Вся ее фигура дышала негой и томностью, но сверкавшие глаза старухи были устремлены совсем не на эту древнюю богиню. Она смотрела на женщину справа, отличавшуюся от левой всем своим существом. Та стояла чуть позади первой, будто невидимая ею, горделиво подбоченившись правой рукой, а пальцами левой опираясь на постамент. Но несмотря на то что эта женщина, в отличие от первой, была оде-

та, небрежно брошенный ей на спину плащ скорее не скрывал ее тела, а наоборот, своим вызывающе ярким золотом с изнанки еще сильнее подчеркивал торжество ее красоты... нестерпимой красоты, от которой стучит в висках, ломит зубы, заходится сердце...

Старуха невольно провела дрожащей рукой сверху вниз по лицу, и горькая улыбка исказила ее губы. Но вот она отошла еще немного в сторону, и в новой перспективе мозаика предстала перед ней совсем в ином виде. Левая сторона со светлым телом отжимающей свои намытые волосы красавицы осталась изысканной, изящной по форме и цвету, но не больше — зато правая с фигурой в золотистом плаще превратилась уже окончательно в явный триумф божества, божества строгого и сдержанного в своем величии, представляющего собой явную победу Афродиты Урании — Небесной — над Афродитой Пандемос — Всенародной.

И едва ли не те же самые черты вдруг проступили в морщинистом загорелом лице старухи, но тут же пропали, в следующий момент на такой же краткий миг сменившись откровенной животной похотью. Впрочем, эта причудливая и странная смена выражений ее лица могла оказаться простонапросто игрой теней или мимическим обманом, тем более что старуха тут же решительно опустила на лицо сильно посекшуюся муаровую мантильку. А солнце уже играло всеми оттенками золота на кресте Владимирского собора*[1].

Старуха повернулась и медленно двинулась в сторону гордо возвышающейся колокольни,

[1] Здесь и далее знаком «*» отмечены ссылки на Комментарии, знаком «**» — на Приложение 1.

и было видно, что ей стоит немалых усилий не оглянуться на покинутую и словно бы поблекшую после ее ухода мозаику. Старая женщина шла с безукоризненно прямой спиной, и темные тени спешили за ней, перетекая по ослепительно-белым камням. Эти тени то замирали траурными покрывалами на некрополях, то дьявольски метались по караулкам и казармам. Казалось, они жили своей собственной жизнью. И когда старуха тревожно замирала, они еще какие-то доли секунды дрожали, не находя себе места, и только потом притворно успокаивались. Они ложились покорными псами у ног, облаченных в серые от пыли прюнелевые ботинки, каковых никто не носил уже добрых двадцать лет. Старуха сурово поджимала увядший злой рот и правой рукой в порванной митенке властно перехватывала левую, которая острым нераскрытым зонтиком будто так и намеревалась проткнуть непослушную тень. На локте при этом отчаянно мотался ридикюль, грозя оборваться с протертого ремешка. В этой смутной, непонятной, но явно тяжелейшей борьбе проходило несколько секунд, потом все замирало в сомнительной устойчивости, и старуха снова двигалась в путь. А слева от нее все так же лениво дымилось и дышало море.

Скоро спуск к бескрайнему водному пространству остался позади, у средневековых базилик, и впереди были лишь крутые скалы, но старуха упорно шла к ведомой ей одной цели. Под самым колоколом, молчавшим давно и не заговорившим, даже несмотря на грозную годину, она вдруг резко подобрала юбки и одновременно уверенно и осторожно, как слепая, стала спускаться по почти невидимым ступеням, вырубленным в скале то ли старым дозорным, то ли временем. Несколько раз

на повороте ее качнуло, но старуха даже не попыталась схватиться рукой за известняк или остановиться передохнуть, переждать, дабы затем покрепче поставить больные ноги. Она неумолимо спускалась и только после того, как померк над ее головой блеск золотого купола, на минуту замерла, утробно вздохнула и продолжила спуск уже спокойней.

Внизу, под скалами, куда она наконец пришла, оказался крошечный пляжик — не больше трех шагов в длину и двух в ширину. Лучи солнца долго не попадали сюда, и потому песок здесь все еще оставался твердым, волнистым и влажным, как стиральная доска. Сравнение это, видимо, поразило старуху своей прозаичностью, и она презрительно фыркнула, отчего лицо под мантилькой со вздувшимися ноздрями стало на миг молодым и гордым.

— Стиральная доска... — прошипела она, озвучивая свое сравнение, и махнула рукой, отгоняя непрошеное виденье долговязой девочки, с прикушенными до крови губами стирающей нижнюю юбку на ледяном полу умывальной в пять часов утра невыносимого декабрьского дня. — Вернуться к тому же? А ты, быть может, хотела в Париж, в комнаты мадам Мирман? Ха-ха-ха! — вдруг зашлась она в низком, почти вульгарном смехе. От такого смеха, пожалуй, любому стало бы не по себе, но в то же время невозможно было не поддаться его дикому, шальному очарованию. — Ха-ха-ха! — продолжала старуха, и задремавшие чайки, шумно вспорхнув, улетели. — Так, так! — с восторгом притопнула старая женщина, отчего на песке остался невероятно маленький, узкий, детский след. Она смеялась, упиваясь этим смехом, и не слышала

или просто не обратила внимания, как за бухтой, за старым греческим портом прокатились глухие раскаты тяжелых двенадцатидюймовых пушек. Ей казалось, что движение песка, шепелявыми струйками посыпавшегося с обрыва, вызвано ею самой, ее отчаянием и ее решимостью.

Но точно так же внезапно, как начался, приступ веселья закончился вместе с канонадой, и старуха принялась внимательно всматриваться в прибой, вяло лизавший песок. Казалось, ее не устраивает медлительность и лень воды и она предпочла бы рев ветра и оскалы настоящего шторма. Но шторма не было уже несколько месяцев и совершенно не предвиделось в ближайшем будущем. Поэтому старуха, словно проверяя правильность своих действий, положила ладонь под грудь, прислушалась к неровным толчкам сердца и решительно села на холодный песок, вытянув длинные и стройные даже под тяжелой тканью ноги. Кусок подола тут же намок и заполоскался, как водоросли, и стало видно, какой когда-то была эта ткань — не просто черной, а с лиловым отливом, с вытисненными ирисами, кое-где продернутыми серебряной нитью.

Но старуха равнодушно скользнула взглядом по былому роскошеству и щелкнула железным замочком ридикюля. Тот распахнул свою проржавевшую пасть, и оттуда, как жадный язык, вывалилась пухлая тетрадь в сафьяновом переплете, явно старая, но не потерявшая от времени своего огненного дерзкого цвета. Старуха взяла ее осторожно, словно боясь обжечься, и стиснула в порыве не то ненависти, не то любви. Простая стальная застежка в виде латинской литеры S давно была сломана, углы прорвались, а обрез от долгого употребления потемнел и засалился. Однако, когда тетрадь от

дрогнувшей руки раскрылась сама, вероятно на том месте, где ее чаще всего открывали, оказалось, что прекрасная плотная бумага верже сохранила свою девственную белизну даже на полях. Рука в рваной митенке и с грязными ногтями застыла над беззащитно распахнутым лоном тетради, словно ангел смерти или насильник над жертвой... Лицо над тетрадью тоже стало белым, дикое выражение торжества, желания, унижения и мести осветило его изнутри, сделав одновременно страшным и жалким, — и с каким-то клекотом старуха опустила пальцы на лист и сладострастно дернула его, с мясом вырывая страницу — хранилицу коричневатых слов. Потом, небрежно отбросив тетрадь в сторону, старуха принялась лихорадочно складывать из листа кораблик. Пальцы не слушались, плотная бумага поддавалась плохо, да старуха и давно забыла, как складывать эти детские забавы, но она упрямо гнула и ломала лист. Наконец, сложив слабое подобие разваливающейся лодочки, она царственным жестом бросила ее в воду, и на парусе мелькнули нелепые слова: *«...не буду писать... никогда не писала и не думала писать, ибо...»*

Жаркие пятна вспыхнули на щеках и жилистой шее старухи, и она поспешно схватила второй лист. На этот раз лодочка получилась уже более ладной и сразу же тоже заплескалась в прибое. Через несколько минут уже множество утлых суденышек жалобно лепились к берегу, не желая ни тонуть, ни уплывать вдаль. Обернувшись, старуха с ненавистью посмотрела на неровный ряд лодочек и попыталась оттолкнуть ногой ближайшую. Но та, как наивный щенок, только еще плотнее припала к песчаной кромке, и рука в митенке сжалась в бессильный кулак — море не хотело ей подчиняться.

— Проклятые... Проклятые! — забормотала старуха. — Всегда были проклятые, и природа вас не берет! — С неожиданной силой и проворностью она вскочила и, вырвав очередную жертву, принялась мять и комкать ее в жесткий неровный шар. На кривых боках его начинавшее проникать и сюда солнце выхватывало летящие буквы и обрывки фраз: *«...без борьбы, без уверенности...», «...изменилось в несколько дн...», «...с тобой о России...».*

Старуха уже размахнулась, чтобы запустить бумажный комок подальше, как где-то наверху вдалеке, вероятно еще у башни Зенона*, ее обостренный, как у зверя, слух различил неровный, спотыкающийся перестук копыт.

Поднятая рука, вмиг вспотевшая, застыла в начатом движении, и по пальцам поплыли коричневатые разводы — это умирали слова, еще даже не успев окунуться в пучину моря. Всадник, судя по звуку, приближался неровным скоком, какими-то зигзагами, будто искал кого-то, и старуха в ужасе подумала, что он ищет ее, ищет, чтобы не дать ей совершить ужасное святотатство.

— Нет, не получите! Не получите! — взвизгнула она, швырнула комок подальше в море и, бросившись в воду сама, стала руками отгонять робкую флотилию от берега. Она махала вздувшимися в воде юбками, топила лодочки ладонями, но то одна, то другая упорно снова поднимались на поверхность, оставляя вокруг себя темное прозрачное облачко. Они не хотели погибать, и даже заброшенный подальше и готовый опять распуститься шар покачивался как ни в чем не бывало, будто ждал милости.

А всадник был уже совсем рядом, потому что песок за спиной старухи сыпался все громче и все

отчетливей. И ее обуял настоящий ужас, словно у нее за плечами двигался не человек, а сам божественный вестник смерти. Но она боялась не за свою жизнь, уже давно потерявшую оправдание и смысл, давно переставшую называться таковой, давно — с тех самых коричневых слов на бумаге верже... Она боялась, что не успеет закончить своей казни, последней казни, которая еще имела смысл. Казнь была ее отрадой, ее занятием, ее упоением долгие-долгие годы второй половины ушедшего века. Она казнила время, мужчин, женщин, убеждения, веру, вещи, саму себя, наконец. Но только сейчас, на закате существования, опасаясь новых веяний, дувших над Тавридой последние несколько лет, она решилась свершить казнь и над ними — над этими проклятыми письмами, искорежившими всю ее так безбрежно начавшуюся жизнь.

И снова ей на мгновение представились юность, поле после грозы, радуга, соединяющая земное и небесное, первый чистый восторг бытия... Поле... Полюшко... Полюшка... Где ты теперь, что ты?!

— Мадам! — вернул ее к действительности хриплый молодой голос, и она не могла не обернуться, ибо до сих пор слишком любила такие мужские голоса. — Что вы здесь делаете? Красные уже на той стороне Карантинной, полковник Медынский приказал мне объехать Херсонес и сказать всем, что еще не поздно и есть возможность уйти через наши батареи за водохранилищем. Но место как вымерло. Сейчас я спущусь и помогу вам выйти. — И поручик спрыгнул с коня.

Но вместо того чтобы броситься навстречу спасению, старуха двинулась еще дальше в ледяную воду, гоня перед собой свою игрушечную флотилию.

— Да она сумасшедшая, *quel diable*![1] — выдохнул юноша и, скользя, почти съехал вниз. — Вы что, не понимаете, через четверть часа это зверье будет здесь!

Ноябрьская вода обожгла ему колени, и, не слушая отчаянного визга старухи, офицер поднял ее на руки, смутно удивившись ощущению тугого тела под ворохом намокшего платья. На секунду ему показалось, что он держит в объятиях девушку, но иллюзия была тут же нарушена низким старческим воплем:

— Да как ты смеешь, щенок?! — И старуха с неожиданной силой и ловкостью стала вырываться, кусаясь и царапаясь, как обезумевшая кошка.

— Мадам, что вы, мадам, еще не все потеряно... — бормотал юноша, кое-как уворачиваясь.

Они были уже на берегу, когда тяжелое тело в его руках вдруг обмякло, и он с отвращением, к которому каким-то чудовищным образом примешивалось и наслаждение, почувствовал, как цепкие руки старухи с жадностью обнимают его, а грудь прижимается к груди. Он попытался освободиться от объятия, споткнулся и, инстинктивно глянув вниз, почти механически отбросил носком под скалы какую-то красную тетрадь.

Через минуту они уже стояли наверху. Со стороны бухты гудело и стонало, и вспышки орудийных выстрелов вспыхивали на золотом куполе собора. Но старуха, казалось, не слышала и не видела ничего вокруг: прикрыв тяжелые веки, она застыла в руках потерявшего ощущение реальности поручика. Кое-как пристроив ее на седло сзади, он тронул лошадь и в последний раз обвел глазами мертвый

[1] Черт возьми! *(Фр.)*

город, которому так скоро предстояло пережить еще одну смерть от новых скифов. Потом взгляд его скользнул к морю, и там под скалой он увидел белую цепь уже поредевших бумажных корабликов. На его глазах они один за другим уходили под воду. Будучи не в силах выдержать этой картины всеобщей гибели в миниатюре, юноша по-детски всхлипнул и двинул усталую лошадь отчаянной рысью. Старуха сзади намертво вцепилась ему в плечи, и черное мокрое платье ее гулко хлопало на ветру, вторя выстрелам с Карантинной.

А поручику казалось, что за его спиной таятся сама судьба и смерть...

Глава 1. Миллионная улица

Миллионная спала, как всегда плутая в своих снах, но даже в них не забывая о долге удерживать своей стрелой две самые прекрасные городские площади — Дворцовую и Марсово поле. Ей, как всегда летом, было душно, она рвалась к воде, обреченно зная, что все равно никогда не доберется ни до Невы, ни до Мойки, и потому бережно тратила единственный глоточек влаги, доставшийся бедняжке у Лебяжьей канавки.

Сны под утро снились самые сумбурные, сегодня, например, привиделось, как на Царицыном лугу** эскадрон кавалергардов расстроился, обнаружив там целое стадо коров, а после княгиня Бетси* клялась и божилась, что ни одна женщина в Петербурге не умеет лучше нее стрелять из пистолета...

«Господи, приснится же такая ерунда!» — подумал Данила и заставил себя разлепить глаза. По знакомому пятну на шпалерных обоях он сразу же удовлетворенно определил, что находится вовсе не на Царицыном лугу, и нет вокруг ни коров, ни кавалергардов. Нет, он, как всегда, у себя дома и приходит в себя после вчерашней попойки. «Вот черт», — снова с досадой подумал он.

Однако комната несколько успокоила его: все в ней было привычно просто и привычно бессмысленно. Он выменял эту крошечную однокомнатную квартирку в штакеншнейдеровском* доме уже давно, еще до всяких квартирных бумов, когда это можно было сделать просто через районное агентство, самолично порывшись в картотеке. И с тех

пор он вообще не отделял свою квартиру от себя самого, ибо это была его первая и, скорей всего, последняя квартира. В ней царил тот же хаос, что и в душе хозяина. Данила, сын серба и француженки, которых советская власть на излете хрущевской оттепели свела в какой-то российской глубинке, с детства был предоставлен самому себе. Мать ушла из семьи, а потом и умерла так рано, что он ее почти не помнил, а отец, пробуя заниматься то журналистикой, то фотографией, то коммерцией и ни в чем не добиваясь успеха, постоянно мотался по всему Союзу. Данила жил то у каких-то мифических родственников, то у мимолетных отцовских подружек, а чаще просто сам по себе в их голой комнате в коммуналке. К счастью, ему везло не только на плохих людей, но и на хороших, и как-то незаметно получилось так, что к двенадцати годам он уже знал половину музейных ленинградских старушек, нырял с Иоанновского моста* за старинными монетками и не имел никаких сомнений по поводу своего будущего. Мир старины, ее пряный аромат и связанные с этим удачи, в том числе и материальные, поймали его навсегда в свою ловушку. Этот причудливый и жестокий мир научил Данилу лгать, выкручиваться, казаться совсем не тем, что ты есть, пить, курить всякое, на ощупь отличать чашку семнадцатого века от чашки века восемнадцатого и до предела развил так называемый нюх на людей. Как любая дворовая собака безошибочно отличает доброго от злого и заранее чувствует их намерения, так и Данила всегда точно угадывал, принесет ему общение с тем или иным человеком выгоду или нет. Причем выгода заключалась не только в деньгах или вещах — он равно признавал и ценил и знания, и доброту, и любовь. Еще буду-